
ПРЕДИСЛОВИЕ

Луи Деллюк представляет собой любопытное, типически-западное явление: он свободно объединяет в себе мастера рассказа и мастера фильма. Он писатель и кинематографист, вернее, писатель-кинематографист, ибо эти обе стороны в нем выражены равно ярко и в достаточной степени художественно. Свойства его искусства созданы как раз их взаимным проникновением и окрашиванием. Приемы словесного развертывания сюжета и приемы кинематографического динамизма пересекают и обуславливают друг друга. Надо только оговориться, что это отнюдь не тот, так называемый, „кинематографический стиль“, который проповедывали футуристы. Тот был продуктом чисто литературной теоретизации, вполне условным приемом литературной школы. В рассказах Деллюка каждое положение свидетельствует, что их автор—практик экрана, человек непосредственно прикасающийся к аппарату, пропускающему фильму. У него особо развитый глаз и специфическая впечатлительность, на особый лад формирующая его рассказы и составляющая их пафос,—тем более заостренная что Деллюк принадлежит к художникам левой кинематографии. Тем самым и другой половиной своего существа он занимает место среди новых

литературных группировок, не примыкая вплотную ни к одной из них, но расположившись у их границ достаточно близко, чтобы его книги могли издаваться среди „Editions de la Sirène“.

Кроме сборника „романов“, носящего характерное заглавие: „В дебрях кинематографа“, ранее им изданы: „Господин из Берлина“, „Война мертва“, „Безглазый поезд“, „Танец скальпа“, а также „У де-Макса“, „Фотогения“ и „Кинемо и К-я“.

А. Э.

ПЕРИСКОП

Братья Вилльямсон — поэты. Смелая научная изобретательность часто больше напоминает лирику, чем сама лирика. И вновь изобретенной машины для кинематографирования морского дна совершенно достаточно, чтобы воспламенить умы, поклоняющиеся новым богам. Итак, братья Вилльямсон выстроили великолепное маленькое судно—понтон, капитель и поддержку для перископа в тридцать или сорок метров длины и шириной приблизительно в печную трубу, и в конце этих тридцати или сорока метров наглухо закрытую камеру, застекленную и доступную притоку воздуха, как шлем водолаза: вы помещаете туда особу серьезную, следовательно немую—или немую, следовательно серьезную—с прожекторами и кинематографическим аппаратом. Все это очень умно, точно, обдуманно в течение многих лет, выполнено, как теорема, и в общем очень волнует наше воображение и, по всей вероятности, очень здорово для умственной гигиены изобретателей.

Они отправились куда-то в Тихий океан—кинематографировать похожую на почтовый ящик улыбку молодых акул, непогрешимые мускульные

движения пловцов, ныряющих за редкими жемчужинами или монетой, загадочные деревья, которые могут сойти за животных, и рыб, которые могли бы сойти за цветы.

* * *

Камера перископа, основательно проверенная и испытанная в портовых бассейнах, медленно двинулась в мелководье.

Судно тихо блуждало по спокойной воде вблизи островка, почти лишенного растительности. В сгущенном, теплом воздухе солнце грубо прорывало сероватый водоворот неба, которое можно было бы принять за море перед бурей, если бы зритель держался вниз головой. И тогда море представилось бы ему в виде безупречного неба в осенний вечер, со всеми его различными оттенками, почти незаметными, в которых как будто больше цельности, чем в чистой лазури. Судно исследователей во всем этом играло не большую роль, чем какая-нибудь щепка, утомленная движением по течению и предоставившая себя воле судьбы.

— Это подходящее время, Даули, — сказал кто-то на борту.

Даули ничего не ответил, найдя фразу собеседника совершенно достаточной или совершенно бесполезной.

На судне был один негр и три китайца. Негр был абсолютно гол, но вооружен гигантским ножом потрошителя рыб. Два человека были заняты сборкой своих водолазных аппаратов. Кто-то уверял меня, что выбирают людей исключительно уродливых, чтобы прятать их под этими чудовищными

масками. Однако это кажется мне весьма преувеличенным, так как если бы всех уродливых людей делали водолазами, морское дно было бы более переполнено, чем Английская набережная в Нице перед вечерним чаем или чем левый тротуар на авеню Булонского Леса в воскресный полдень.

Даули, или кто-то другой, спустился в отверстие трубы и попал в камеру для съемок по крошечной лестнице, совершенно темной, от которой можно было получить хорошее головокружение в ожидании настоящего падения.

* *
*

Урмунн, прежде чем кто бы то ни было, увидел эту штуку. Конечно, он не сделал ни одним движением больше или меньше и продолжал свою маленькую прогулку по прямой линии в воде, как разрезательный нож между двумя листками японской императорской бумаги.

Он уже видел юркую подводную лодку, которая больше не всплыла, гигантский якорь, чья разорванная цепь спокойно погружалась в песок своими заржавленными кольцами, большую рыбацью барку из крепкого дерева, хотя это крепкое дерево, в свое время разбитое прибоем, теперь медленно гнило в обществе двух старых скелетов, белых, как пыль, и тысяч существ с плавниками, которые толпились вокруг них, точно так же, как поступили бы вы в отношении исторических развалин или загадочных монолитов.

Шар Даули не имел ничего общего с этими остатками завоевателей. Подводный пейзаж настолько значителен сам по себе, что нужно быть

чем-то совершенно необыкновенным, чтобы вызвать удивление, если уже идешь на это.

Урмунн даже небрежно переменял направление. Он был из той породы, которую мы называем зебрами, по всей вероятности за то, что их чешуйчатая броня декоративно испещрена полосками, как шерсть зебры.

Его тело было очаровательно по линиям, с пластинками и хвостом-султаном, гибким как платок, которым помахивают по ветру. Его глаза,—вы сказали бы, что они комичны, по-моему же, они очаровательны.

Он был уже готов повернуться спиной к шару Даули, как вдруг зажглись прожекторы.

Это было так же замечательно, как броненосец, выходящий из верфи в море. Только броненосец делает вид, что хочет нырнуть, и лишь чуть-чуть зарывается головой, затем быстро выпрямляется, гордый своим умением плавать и не тонуть.

Броненосец — безобидная безделушка для народонаселения морских глубин.

Лучи прожектора гораздо скандальнее.

Урмунн не был ни скандализован, ни даже изумлен. Самое большее, он подумал, что было бы легкомысленным дать себя затопить этому странному свету, здесь, где он привык встречать только сладостные сумерки. Представьте себе, что во время ходьбы на лыжах в январе или феврале, при 19° ниже 0 в Шамони или в Планэ, вы видите, как снега Монблана превращаются в бенгальский огонь: это не было бы более значительно, чем этот неожиданный прожектор в тихоокеанской глубине.

„Вот перемена погоды“, подумал Урмунн.

Не отдавая себе однако отчета в том, что шутка исходит от серого шара, он повернулся к нему, но отвернулся с максимальной быстротой; резкий свет прямо в глаза невыносим для того, кто приучен к темным мерцаниям, в которых с трудом различаешь глаза своего соседа.

И бесцельная прогулка маленькой зебры Урмунна превратилась тотчас же в полет стрелы по направлению к обломку большой барки, где собирался целый морской народец и, при случае, совещался.

— Урмунн болен,—объявил Уеллем, как только издали завидел своего родственника.

Урмунн остановился у прогнувшейся брешии корабля.

— У Урмунна странные глаза,—заметил толстый Ауллан, живот которого, кажется, всегда готов лопнуть.

Несомненно, что у Урмунна глаза были как у тех, „кто видел то, чего не следует видеть“. Кроме того, казалось, что он окончательно лишился выразительности и речи.

Когда я говорю о речи нашего Урмунна и всех этих господ, я знаю, о чем говорю. Итак, пусть поймут меня! Язык рыб не хуже языка всех животных. Но они меньше полагаются на звук и жест, чем на выражение маски. Даже их глаза не имеют того авторитета, какой вы предполагаете. Самое главное—рót, который слишком часто вам представляется бесстрастным или глупым и который однако располагает известным количеством вполне точных знаков. В этом-то лучше всего и сказывается характер этих господ. Отсюда преимущественно и происходят эти бесчисленные отличия в их сложении.

Начиная от маленьких плавающих чудовищ с вечно открытым клювом, как у спящих младенцев, кончая большими феноменами расы, все их уродства, все отклонения от нормы, равно как вся гармония их, основаны на этом. Вот почему самые страстные споры у них носят характер невероятной сдержанности. Так, по крайней мере, утверждаю я. И никто не требует от вас верить всему, что я говорю.

Предполагаемое безумие Урмунна исчезло при первых его словах. Он уверенно рассказал обо всем, что произошло. Это было, кроме того, замечательно кратко; и если бы рыба болтовня употребляла слоги, этот рассказ потребовал бы не более четырех или пяти.

Ничего из рассказанной драмы не достигало обломков большой лодки. Лучшие глаза решительно не видели этой бесстыжей зари, взошедшей на немом горизонте.

— Смотрите,—сказал Урмунн.

И он пустился снова в путь без дальнейших комментариев.

За ним последовали.

Зная, что за ним следуют, Урмунн не очень спешил. Аулан понял, что это дань уважения ему, и присоединился к Урмунну, плывшему во главе колонны. Они не обменялись ни взглядом, ни словом и продолжали свой путь с достоинством. Их простота была невозмутима, хотя, случайно, оба они были вождами десяти или двадцати тысяч рыб небольшой величины, но разнообразных и иногда враждебных друг другу семейств. Аулан встретил что-то съедобное—и съел.

Наконец они увидели обещанную дикую зарю в жидкой массе и остановились. Вся толпа застыла. Нет и никогда не было эскадры, способной выстроиться в таком гармоничном боевом порядке.

Ни одно вульгарное восклицание не вырвалось из этих бесчисленных ртов. Не было даже проявлено ни малейшего нетерпения. Внезапное появление Урмунна достаточно подготовило их к ненормальности события. Выстроенные и спокойные, они смотрели в почтительном отдалении на большой огненный глаз, в котором неясно шевелилось большое насекомое. Так солдаты, которым делают смотр, равнодушно глядят на людей, толкающих друг друга, чтобы увидеть смотр.

Их неподвижность была только кажущейся. Вся эта живая масса понемногу скользила по направлению к шару Даули, как глетчер, незаметно для всех сползающий в долину.

Описать их невозможно. Круглые, или кубические, или кубистические головы, розовая чешуя, зеленые, желтые, голубые верхние щиты, золотистые остовы, брони, покрытые самыми отвратительными, и самыми волшебными пятнами, хвосты всех размеров, шелковистые, колючие, зубчатые, белые и черные брюха. Весь этот народ, темный и сверкающий, плотная, но стройная толпа, в которой каждый был кем-то, а некоторые были больше, чем „кто-то“ в сравнении с другими, т.е. герои, знаменитости, патриархи, чудовища, — раз все и везде одинаково банально и совершенно почеловечьи—ах, какой народ...

Первый „акт“ начал Тага. Возможно, что это была рыба-меч или что-нибудь в этом роде, а может быть, и что-нибудь почище. Вместо нижней

челюсти у него имелась двойная пила, производящая сильное впечатление на тех, кто обладает чувствительной кожей. Ему особенно нравилось проникать во внутренности этим странным инструментом.

Тага выскочил из рядов миролюбивой армии и бросился на шар Даули.

Один из зубцов двойной пилы сломался от удара.

Даули соизволил улыбнуться. Он не соизволил прекратить вращение ручки аппарата. И Тага таким образом был скинематографирован, не зная об этом. Если бы он знал об этом, гнев и стыд, по всей вероятности, воскресили бы его воинственный пыл. И сколько бы зубов еще принес он в жертву, чтобы удовлетворить свои склонности почтенного потрошителя?

Он ограничился тем, что вернулся на свое место в толпе. Ни одно критическое замечание, ни один хлопок не обеспокоили молчаливца.

Урмунн направился к шару.

По отношению к нему было проявлено не больше знаков внимания, чем к Тага. Он не рисковал тем, что сломает себе зубы, но он мог великолепно расплющить свой рот—тонкий и умный—или опалить глаза—круглые, как маленькие драже чуть окрашенные сахаром.

Он приближался осторожно, чтобы привыкнуть к свету.

Даули смотрел на него с удовольствием. Потому что Даули надоело запечатлевать кораллы, губки и дальние призраки диких водорослей. Ему недоставало жизни с ее капризами и целями. Тага доставил ему некоторое развлечение, но та-